■ ЕЛОВЕК острейшего ума и глубочайших знаний, полный любви к подлинному искусству и убийственной иронии ко всему окружающему, Филипп Гершкович жил в крохотной однокомнатной квартирке вместе с молодой женой Леной и котом Кисиком, едва сводя концы с концами. В Союз композиторов его не допустили, из Музфонда изгнали, а людей, которые бы его могли поддержать или дать хотя бы денег взаймы, становилось все меньше и меньше. Раскрыв том бетховеновских сонат, партитуру Малера или Шёнберга, он трудился целыми дня-

Шенберга еще четверть века спустя «пугали маленьких детей».

В эти же годы он пишет ряд сочинений: три пьесы для фортепиано, четыре пьесы для виолончели с фортепиано, кантату для голоса и камерного ансамбля на стихи Р. М. Рильке и Ф. Г. Лорки. Музыка Гершковича не исполнялась, и хотя это огорчало его (он говорил: «Пока сочинение не исполнено или никому не показано, кажется, что его не существует»), он считал основными своими сочинениями — сочинения о музыке, а музыка — это второе. Я видел эти партитуры только мельком, но убежден, что они заслуживают самого серьезного отношения. Можно сказать, что они написаны целиком в эстетике Шенберга.

• ТАКАЯ СУДЬБА

С неведомой планеты

ми, делая все новые и новые уникальные открытия, которые, как он думал, когданибудь составят книгу — главный трудего жизни. Иногда он давал уроки, но говорил при этом: «У меня нет учеников. Я — единственный свой ученик». Когда же кто-то называл себя его учеником, не преминув напомнить, что Гершкович — ученик Веберна, Филипп Моисеевич восклицал с негодованием и горечью: «И тогда получается, что я — обувная ложка! Это неприятно... Тем более что и Веберну эта каблучная ситуация не очень подходит».

Фавн, или Фабиш Гершкович, родился в румынском городе Яссы в семье торговца пуговицами. В Яссах он закончил консерваторию, где, по его словам, его хорошо научили гармонии, и в 1927 году он поступил в Венскую Академию к Иозефу Марксу, дружившему с Шенбергом на почве живописи («оба писали картины — неизвестно, кто хуже»). С 1929-го по 1931-й он учился у Альбана Берга («который ничему не учил»), а затем, с 1934 года, у Антона Веберна, одновременно работая корректором в «Универсальном издательстве» Веберн выдал ему диплом — клочок бумаги, на котором собственноручно начертал, что Гершкович, пройдя у него полный курс обучения, имеет право преподавать композицию и теоретические дисциплины. С этим дипломом, спасаясь от Гитлера, из нацистской Вены он уехал в г. Черновцы, который Сталин вовремя присоединия к своей империи.

Несть лет Гершкович провел в звакуации в Средней Азии, в основном в Ташкенте, где узбекский музыкальный халиф Ашрафи принял его в члены Союза композиторов, но в Музфонде отказал чтоб Гершкович не мог там одалживать деньги. Когда же в 1946 году он переехал в Москву, в Союзе композиторов его не восстановили (началась кампания против космополитов, выражавшаяся в основном в гоненин на евреев), зато приняли в Музфонд. Тогда в Москве имена его учителей ничего не значили, а именем

ОДНАКО время шло. Нововенцы, не успев войти в моду, успели из нее выйти, и Гершкович оказался всеми покинутым, никому не нужным чудаком, «Мне нужен кто-то, с кем бы я мог делиться своими мыслями о музыке!» - твердил он, но это был глас в пустыне. Не находя выхода из духовного вакуума, он подал заявление на выезд из страны. В выезде ему отказали. От отчаяния он даже сочинил письмо Тихону Хренникову — нашему бессменному музыкальному вождю, где писал, что обращается к нему, так как при всем их различии, они все же имеют коечто общее - выражают свои мысли нотными знаками. Свою жизнь он рассматривает как сонатную форму, экспозиция которой прошла в Вене, разработка в Советском Союзе, и теперь он нуждается в репризе. Хренников не - стал серьезно вникать в красоту этой идеи и продиктовал своему секретарю формальный ответ. что, дескать, делами такого рода занимается не он, а ОВИР.

Это были тяжелые времена для Гершковича. Вслед за заявлением в ОВИР автоматически последовало изгнание из Музфонда с присуждением выплаты огромного долга. Круг приятелей катастрофически сокращался. Имя его больше нигде не упоминалось и произносилось только шепотом.

шли удачно, у него отказали почки. Он умер 5 января 1989 года и был похоронен в еврейской части венского кладбища.

БУДУЧИ последовательным учеником Веберна, Гершкович воспринял от него отношение «к творчеству Бетховена как к высшей точке развития музыкальной формы». «Все идет к Бетховену и от Бетховена», — часто повторял он. Послушаем самого Гершковича:

«Есть два вида композиторов. Те, которые делают музыку, и те, которые с музыкой что-то делают. Для того, чтобы пе-



ресчитать первых по пальцам (я имею в виду последние 250 лет), нам не пришлось бы утрудить пальцы наших ног; пальцев рук хватит с лихвой. Вторые же — это все остальные; их хватило бы на то, чтобы составить население не совсем карликового государства. Музыка первых делается звуками, но существует независимо от звуков. Музыка вторых делается ради звуков. Первая — это мир кристаллов; вторая — мир (хороших и плохих) каш...».

О каждом из великих мастеров Гершкович оставил множество метких высказываний. Вот некоторые из них:

...«творчество (Баха) еще представляет собой карту, на которой белых пятенкуда больше, чем на карте Африки в XIX веке. Осознаем, однако, что баховские белые пятна никогда не будут исчерпаны до конца. И это лишь потому, что величие великого мастера бесконечно».

«Бетховен — это то же самое, что Моцарт. Все, что есть в Моцарте, развито Бетховеном. Это одно явление». «В Вагнере нет длиннот; в нас есть краткости» (из письма).

«Из великих мастеров в консерваториях никто не учился, кроме Малера» (из

«Шёнберг, этот Колумб музыки нашего времени, открыв Америку, действительно открыл и новый путь в добрую старую Инлию.»

«У Брамса форма не развивается, а тянется, как нитка, — но тянется хорошо». (Из беседы).

«В то время как Шуман и Мендельсон — таланты умопомрачительной высоты — делали свои лубочнообразные симфонии. сонаты и т. д., Брамс (как и Вагнер, но иначе, чем Вагнер) понял суть Бетховена. Однако это не было творческим пониманием. Из понимания Бетховена Вагнер извлек возможность стать Вагнером, Брамса же уничтожило его непутевое желание стать вторым Бетховеном» (из письма).

Нашим современникам досталось куда больше:

«Стравинский делал музыку из балетов так же, как Шостакович делал свои симфонии из кинофильмов, — опыт его наперской деятельности в кино наложил отпечаток на его музыку» (из беседы). —

«Шостакович — сплошное общее место, а Стравинский — сплошное частное меты»

«Штокхаузен — это то же самое, что и Булез, только без фрака».

«Халтурщик в трансе», «омлет из скорлупы», «музыкальные обои», «музыка, откастрированная от времени» — вот эпитеты, которыми он нередко снабжал композиторов и их сочинения.

Гершкович считал, что сейчас в музыке наступил спад или провал. Стремление во что бы то ни стало казаться новым, оригинальным часто оборачивается пустовонством, игрой в бирюльки и объясняется просто жаждой успеха, что он называл «неэвклидовым карьеризмом». «Самая поторая эпигонская музыка та, которая липо Моисеевич.

Он радовался, когда ему что-то нравилось в новой советской музыке, которая, по его словам, представляет собой «выставку талантов». Он давал наставление: «Не быть добреньким относительно самого себя; не превращать «творческий процесс» в глаженье себя по головке; не разрешать себе быть с музыкой на «ты»... Талант не порок. От него можно отталкиваться к чему-то более стоящему» (из письма).

Наследие Филиппа Моисеевича Гершковича, этого гениального музыкального ученого, не должно быть похоронено. И хочется верить, что недолго осталось жадать, когда оно станет достоянием музыкальной общественности.

Дмитрий СМИРНОВ